



**РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

ЭВОЛЮЦИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

■
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

■
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

■
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

■
ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

1

2017

Учредитель:
ЗАО «ЭЖ МЕДИА»
Издатель: АНО «Академия
менеджмента и бизнес-
администрирования»



Выходит с апреля 1958 г.
(до марта 1992 г.
издавался под названием
«Экономические науки»)
Выпускается шесть раз в год

 ИД «Экономическая газета»

ISSN 0130-9757

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ретроспекции и современность: к 100-летию Октябрьской революции

- А. М е л е н т ь е в. Как будем отмечать «круглую» и «красную»
историческую годовщину _____ 3
- А. Л ю б и н и н. Октябрь-1917, социалистический проект и суверенитет
России 10

Из архива журнала

- А. Ф р о л о в. Фактор времени в ленинской методологии обоснования
политических решений: примеры 1917 — начала 1918 года
(из № 2 за 2010 г.) 36
- М и х. Л и ф ш и ц. Чего не надо бояться (из № 7-8 за 2007 г.) 54

Методология, теория, практика

- А. П о р о х о в с к и й. «Планирующая система» Дж. К. Гэлбрейта:
50 лет спустя 71

Научные сообщения. Форум

- П. Л а в р и н е н к о. Развитие высокоскоростного железнодорожного
транспорта — фактор экологизации продукции высокотехнологичной
промышленности России 89

Критика и библиография

- Об учебном пособии «Социально-экономическая история России»
сотрудников кафедры истории народного хозяйства и экономических
учений экономического факультета МГУ 98
- О. А л е к с а н д р о в а. Инвестиционно-сберегательные стратегии
высокодходных групп населения (введение и заключение к монографии
ученых Института социально-экономических проблем народонаселения
РАН) 104

ЧЕГО НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

В те времена, когда еще не было самолетов, летящих быстрее звука, люди искали вечную, нетленную истину, а в наши дни они настолько привыкли к постоянному изменению своих взглядов на мир, что всякое цельное мировоззрение вызывает у них чувство недоверия. Если истина уже открыта, и значение ее распространяется на все области жизни, что будет делать последующее человечество? «Скучища неприличнейшая», — как сказал черт Ивану Карамазову.

Критики марксизма часто обращаются к такого рода аргументам, пользуясь пред-рассудками нашего века, не менее ложными, чем предрассудки времен египетских скарабеев, хранителей вечности. Марксизм, говорят его недруги, хочет навязать человечеству систему законченных взглядов и, таким образом, противоречит собственным выводам о всеобщем значении диалектического метода.

Дело подобной критики облегчается примерами догматического применения идей Маркса и Ленина. Нет ничего страшнее карикатуры на истину, нет хуже насмешки, чем усердие ее мнимых друзей. Однако дурное применение истины, по верной мысли Белинского, не есть аргумент против самой истины; такой аргумент не имеет никакого значения, по крайней мере, для самостоятельной трезвой мысли.

Марксизм не отвечает за вульгаризацию его идей, так же, как христианство не отвечает за тупость богословских споров, а Просвещение в лице Дидро или Чернышевского не отвечает за плоские речи госпожи Кукшиной, эмансипированной дамы из романа Тургенева «Отцы и дети». Все великие идеи подвергались вульгаризации, и это само по себе может служить косвенным доказательством их общественного значения. Так, итальянский гуманизм XV — XVI веков выродился в мелочное педанство многочисленных литературно образованных чиновников на службе у европейских правительств, но это нисколько не умаляет его всемирно-исторического значения. Революционные идеи французских просветителей были вульгаризованы в самой Франции, превратившись отчасти в философию наслаждения праздной аристократии; и все же сделать эти идеи ответственными за нравственные парадоксы маркиза де Сада — занятие для современных софистов. В Германии просветительские идеи приобрели особенно плоский вид у таких популярных писателей, как Николай, но без Винкельмана и Лессинга был бы невозможен подъем немецкой классики в литературе и философии. Конечно, вакцина против вырождения великих идей существует, и только в рамках старой классовой цивилизации победа плоскости неизбежна. Развитие социалистической демократии — надежное средство против всякого догматизма и оскудения мысли.

Но ссылок на догматическое оскудение нельзя исчерпать существо дела, ибо в известном смысле марксизм действительно означает конец развития. Это звучит странно. Вы хотите сказать «конец определенного периода в развитии идей»? — спросит доброжелательный читатель. Отчасти так, но не совсем. Словесный выход найти легко, однако слова нередко усыпляют мысль, а ей всегда необходимо сделать усилие, чтобы подняться над уровнем ходячих обывательских представлений.

«Все течет», — сказал мудрец, но диалектика не сводится к простой абстракции движения. В конкретном мире нет ничего однообразного, поэтому нет и однообраз-

ной текучести. Подобно всякому великому человеческому достижению марксизм оканчивает собою время длительных поисков, поисков определенного решения, в принципе больше не нужных, законченных раз навсегда. Черта подведена, и бесконечный процесс, пройдя через этот порог, откроет новые горизонты, пойдет дальше, не повторяя себя с обезьяньей точностью. Вечное развитие возьмет свое на другом уровне и в других измерениях. Без этого неограниченного многообразия, в одной лишь постоянной текучести была бы именно «скучища неприличнейшая», то якобы гераклитовское трагическое постоянство рока, которым украшает себя мировоззрение Ницше и вся философия, вышедшая из этого источника.

Формула «раз навсегда» звучит слишком резко для нашего уха, но если читатель захочет подумать, то он найдет, что раз навсегда совершилось на свете множество вещей. Когда-то наш отдаленный предок стал на ноги и пошел. Куда он пошел и что ему еще предстоит измерить своими шагами, — это другой вопрос. Однако закон развития вовсе не требует от него, чтобы он снова стал на четвереньки или начал ходить на голове. Нет ничего постоянного в мире, но

*То, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас.*

И если нам удастся навсегда сохранить вертикальное положение тела, то диалектика в обиде не будет, и такое постоянство достигнутого едва ли можно рассматривать как застой. Однако вертикальное положение тела принесло с собой некоторые неудобства и болезни! Совершенно верно, безусловных приобретений не существует, и, может быть, со временем какая-нибудь левитация, преодоление силы тяжести, внесет сюда свои благодетельные поправки, связанные, конечно, с другими утратами. Но это не в силах отменить принципиальной грани, достигнутой однажды человеком на заре его существования, достигнутой раз навсегда. Допустим самое невыгодное для нашего рода — возможность биологического регресса. Все равно, никакой рок не в силах вычеркнуть из биографии мира то, что жизнью взято раз. Что было — то было, и хотя бы в идеальном смысле превосходные строки поэта всегда будут справедливы.

Только человек, захлебнувшийся в собственной желчи, может сказать: к чему вся ваша борьба, ваши хлопоты! Ведь если растают льды Арктики, вы все погибнете — и правые и виноватые, и капиталисты и пролетарии! Нет, если даже завтра или когда-нибудь в будущем произойдет мировая катастрофа, она все же не вычеркнет из того, что было в истории мироздания, ни красоты афинского Акрополя, ни «Логики» Гегеля, ни «Капитала» Маркса, ни поразительного сочетания философа и государственного деятеля в личности Ленина, ни вечной славы Октябрьской революции. *Fuimus!* — мы были.

Эти рассуждения можно применить ко всей истории культуры. Есть «элементарные условия общественности», по выражению Ленина, возникшие бог весть когда. Мы хорошо знаем, сколь опасны для общества их нарушения, связанные с войнами, голодом, привычкой к насилию и другими явлениями этого типа, рожденными в недрах самой цивилизации. Так же точно существуют элементарные основы логического мышления, уходящие в далекое прошлое человечества. Их не надо заново открывать, они уже есть. Все последующее развитие делает их более эластичными, не отменяя однажды найденной рамки, необходимой для всякого нового исторического синтеза.

Таков общий закон — закон перехода из содержания в форму, которая в свою очередь становится условием всякого дальнейшего конкретного развития. В этом смысле существует грамматика культуры во всех ее проявлениях. К ней относятся, например, формальные признаки родов и видов искусства, правила стихосложения, музыкальной гармонии, перспективы и многое-многое другое. Слухи о том, что все это должно быть сломано во имя законов развития, творящих нечто безусловно новое, похожи на слухи о людях с песьими головами в средние века.

Если жизнь вносит в эту систему форм, выработанных всей прежней историей, свои поправки, то есть обогащает их, очень хорошо. Но не следует падать в обморок от того, что в определенном отношении главное сделано. Впереди бесконечное многообразие содержания, способного пройти через эти ворота, эти формальные условия, чтобы создать в свою очередь новые, свежие и до некоторой степени исчерпывающие решения. Всякая грань относительна, но если изложение математического анализа Коши явило собой важный рубеж в истории математики, то открытие дифференциального исчисления Лейбницем и Ньютоном — не просто более глубокая борозда. Эту грань можно с известным правом назвать главным рубежом, главной цезурой («caesura» — ритмическая пауза).

Нечто подобное главной цензуре имеется в каждой области, в каждом потоке уходящего вглубь и все более сложного развития. Вспомним такие эпохи создания национального литературного языка, как начало XVII века во Франции или время от Ломоносова до Пушкина в России. После «Капитанской дочки» история русского языка не прекратилась, однако в сравнимых отношениях главное было сделано. Гоголь, Островский, Шедрин — у каждого свое, но писать так, как писал Сумароков, — «варварским изнеженным языком» — уже никто не может. Позади основной рубеж, критическая полоса, как бы эпоха возникновения звезд, если она когда-нибудь была.

Пусть главное и второстепенное меняются местами, переходят друг в друга: при сохранении определенного масштаба разница всегда есть, и сбивать эти грани нельзя без риска запутать нашу бедную голову, превратив науку в базар необязательных житейских мнений, то есть в пустую эклектику. Так, например, синтез логических законов Аристотелем является в известном смысле главной цезурой и условием всякого более конкретного шага в этой области. Здесь речь идет, собственно, о простой абстракции логического мышления, и само собой разумеется, что развитие диалектической логики наполняет эту абстракцию более глубоким содержанием. Возможны и частные логические дисциплины, развивающие (иногда до крайнего парадокса) определенные ракурсы логической формы. Приемы новых логических дисциплин могут иметь свою ценность для научного знания, и все же нельзя изложить любую из них, минуя общие связи традиционной логики, которая всегда останется рамкой, способной охватить самые сложные формулы специального языка. Нет на свете ни одной книги, набитой до отказа условными знаками, которая в конце концов не предлагала бы свое добро читателю как вывод, следующий из принятых посылок. Верны ли эти послышки и строго ли они в данном случае проведены, — скажет критика, вооруженная логическим мышлением в обычном смысле этого слова. Отказаться от этого мышления — все равно, что поднять самого себя за волосы, и потому слух об отмене классической логики новыми логическими дисциплинами вполне равен слуху о людях с песьими головами.

Нельзя сказать, что так называемая логика Аристотеля есть одна из многих логических систем, не менее верных, чем она, и просто разных. Особенно вздорной становится эта мысль, если прибавить к ней, что вера в единство и всеобщность логического мышления есть «европоцентризм», несправедливо отвергающий другие типы мышления, например логику первобытную. Нечто подобное мы читаем у Леви-Стросса и многих современных западных авторов.

Разум один, справедливо отмечал Герцен. «Несколько разумов — такое бессмыслие, которое человеческое воображение не только понять, но и представить не может». Действительно, излагая модную теорию многих разумов, вы тем самым предполагаете, что ваша собственная теория единственно разумная, а это противоречит ее исходному пункту. Если же ваша логика не претендует на всеобщее значение, то и не утверждайте, что существует много разных, но одинаково разумных разумов, ибо это утверждение носит именно всеобщий характер. «Разное понимание предмета, — писал Герцен, — не значит, что разумы разные, а, во-первых, что люди разные, и, во-вторых, что в разных степенях развития разума истина определяется различно, с разных сторон одним и тем же разумом»¹. Слово «разум» можно заменить словом «логика», ибо логическое является сущностью разума — другого смысла в этом понятии нет.

То же самое можно сказать о так называемой неаристотелевской эстетике, отрицающей «мимезис», то есть воспроизведение реальной действительности в искусстве. Адвокаты этой эстетики уже целое столетие твердят, что изобретение фотографии делает излишней живопись или, по крайней мере, такую живопись, которая опирается на более или менее глубокое сходство с моделью; а теперь аргумент в пользу замены традиционной живописи проектированием вещей или антиживописью, основанной на несходстве с моделью, докатился уже до самых медвежьих углов. Кажется, многие современники слишком запуганы опасностью отстать от вечного движения и борьбы нового со старым — факт, относящийся к социальной психологии двадцатого века.

Между тем сказать, что фотография делает живопись излишней, приблизительно то же самое, что сказать: после изобретения автомобиля ноги уже не нужны. Конечно, никто не станет заказывать художнику свой портрет для удостоверения личности, а пойдет к фотографу. Однако живопись, освобожденная от столь утилитарного назначения, только выигрывает в своей самостоятельной ценности — так и любая техника движения не может заменить хорошей прогулки.

Пугало фотографического сходства особенно смешно в настоящий момент, когда весь западный мир охвачен новой модой на так называемый гипер- или фотореализм, состоящий в раскрашивании громадных фотографий. Нужно ли лучшее доказательство того, что упадок живописи (или, если вам это больше нравится, отрицание ее традиционного отношения к действительности) не является следствием изобретения фотокамеры? Существует плохая живопись, но нет никаких оснований утверждать, что век живописи или, по крайней мере, живописи, изображающей жизнь в ее собственном, видимом нами образе, пришел к концу.

Искусство, основанное на отрицании реальных образов, может создать только негативные ценности, доступные людям, посвященным в то, что они отрицают.

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т. Т. 3. — С. 124, 125.

Другими словами, тут речь идет о реальных образах, взятых со знаком минус. Такое искусство являет собой антимузей классических форм, и, не имея самостоятельного источника жизни, оно в гораздо большей мере зависит от музейной традиции, чем искусство, черпающее непосредственно из реальной действительности. Для художественного творчества подобная отвлеченность невыносима, можно даже сказать — убийственна, что и приводит к различным теориям ликвидации искусства, распространенным в наши дни. Так или иначе, даже отрицая грамматику культуры, люди, охваченные этим паническим бредом, подтверждают ее существование.

В общем, можно сказать, что принцип относительной законченности однажды найденных решений не противоречит идее бесконечного развития. Что-то рождается раз навсегда и что-то умирает раз навсегда. Без этого невозможно поступательное движение. Если же допустить, что оно возможно и совершается в мире, то элемент законченности отрицать нельзя. Это значит, что некоторые явления, отодвинутые в прошлое, не могут больше вернуться, кроме случаев явного регресса. Нравится вам это или нет — приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Может ли, например, вернуться алхимия? Поисками красного льва или философского камня, способного обращать простые металлы в золото, занимались такие выдающиеся умы, как Роджер Бэкон, Кардано и Парацельс. Сравнивать с ними рядового натуралиста нашего времени было бы смешно. Между тем этот натуралист есть ученый, представитель коллективного организма науки в строгом смысле слова. Наука началась там, где раз навсегда были оставлены такие фантастические занятия, как алхимия, и при всем уважении к гениальным догадкам мыслителей средних веков или эпохи Возрождения эта грань всегда останется прочной.

Но разве выводы науки безусловны? Нет ничего неизменного, все стареет и заменяется новым. Чем же наука лучше алхимии? В известном смысле — ничем. Перешагнув через рубеж, отделяющий ее от наивной натурфилософии прежних времен, она открыла безграничную перспективу исследования природы, быстрого изменения своих взглядов на мир, возможность новых точек зрения и новых переходов, кроме одного — возвращения к алхимии. Н. Г. Чернышевский писал о методе «отрицательных выводов»: мы не можем сказать, чем именно окажется неизвестное нам, но мы уже знаем, чем оно не окажется; какие существа обитают на отдаленной планете, если она обитаема, мы не знаем, но одно можно сказать определенно — ведьмы там не живут.

Пример алхимии довольно стар, и только ложный пафос обывательского сознания нашего времени придает старому примеру некоторый интерес. Если выводы науки так же смертны, как заблуждения алхимии, это уравнивает шансы, и крайнее новаторство, отравленное вульгарной диалектикой, становится защитой ретроградных идей. Лучший способ быть оригинальным, пишет один из лидеров американского «поп-арта», — вернуться назад. В своих известных лонгелловских чтениях 1925 года Уайтхед сказал, что современная наука берет начало не в опытных исследованиях эпохи Возрождения, как думали до сих пор, а в средневековой схоластике и греческой драме. Такие парадоксы были в те времена еще внове, и ретроградно-модернистская тенденция Уайтхеда понравилась. Между тем очевидно, что при всем совершенстве греческой драмы сравнение ее с развитием научного мышления более изящно, чем основательно. Если речь идет о формальной закономерности, то греки имели вполне ясное представление о ней не только в развитии трагической фабулы.

Что же касается мыслителей средних веков, то их разработка формальной классификации и философской терминологии оставила прочный след. И все же нет никакого сомнения в том, что первые шаги современной науки были сделаны ею вразрез с этой средневековой традицией, и сделаны прежде всего в неофициальной сфере научного мышления, в мастерских ремесленников («боттегах») и более широко — в мире опыта.

Посмотрим теперь без предубеждения, чем наука не лучше алхимии. Безусловное содержание любых научных выводов принадлежит конкретной истории, то есть замкнуто в определенном круге явлений, «заражено» конечностью, по выражению Энгельса. Значит, совершенно свободной от неизбежных иллюзий, которые, может быть, покажутся нашим потомкам столь же наивными, как многие представления Кардано или Роджера Бэкона, современная наука считать себя не может. Конечная сторона имеется в любом человеческом достижении; машина времени выделяет этот продукт в чистом виде и отбрасывает его в прошлое.

Впрочем, если нельзя сказать, что именно может показаться наивной фантазией нашим образованным потомкам, то есть все же разница между ошибкой Резерфорда, который не верил в освобождение атомной энергии для технических целей, и пустой фантазией модных обскурантов, пропагандирующих, например, вредность разума и спасительность «раскультуривания» (а таких людей в настоящее время сколько угодно). Слабости человеческой мысли тоже подчиняются закону «отрицательных выводов». Мы не знаем, что может устареть в будущем, но твердо знаем, что есть идеи, которые не устареют, и есть границы, отделяющие мысль ученого, способную заблуждаться, от простого «бессмыслия». Возможно, завтра эти границы будут отнесены в ту или другую сторону, но отсюда вовсе не следует, что их нет; отсюда следует только, что мы провели эти границы приблизительно, с присущим человеческому уму недостатком точности.

Правда, прикосновенность к смертному миру — не только порок, но и достоинство. Ибо все действительное имеет конечные определения, оно существует здесь и теперь, в границах качества и количества, в приливах действия и страдания. Вне этого нет ничего реального, ничего стоящего, — все остальное только призрак, бледная немочь, седьмая вода на киселе. Вот почему достоинства старой натурфилософии неотделимы от ее недостатков. Попробуйте мысленно ограничить средневековое воображение Роджера Бэкона — и у вас не будет его наивной веры в магию, но не будет и замечательного предвидения крылатой машины, прочно вошедшей теперь в быт людей, хотя еще недавно ученые отвергали возможность летательных аппаратов тяжелее воздуха.

Отсюда можно сделать и другой вывод — в оставленном позади не все достойно гибели. Менее развитые ступени имеют свои преимущества, свою идеальность. Их неясные черты продолжают жить в бесконечном палингенезе, возрождении, и поступательное развитие всегда возвращается к прошлому, освобождая из мертвого царства все достойное жизни. «В человеческой истории, — писал Маркс Энгельсу 25 марта 1868 года, — происходит то же, что в палеонтологии. Даже самые выдающиеся умы принципиально, вследствие какой-то слепоты суждения, не замечают вещей, находящихся у них под самым носом. А потом наступает время, когда начинают удивляться тому, что всюду обнаруживаются следы тех самых явлений, которых раньше не замечали». Так, когда после Французской революции было открыто

значение средних веков, всё видели в романтическом свете. Когда же, несколько десятилетий спустя, широкий размах приняло социалистическое движение, ученые заглянули в первобытную эпоху каждого народа. «И тут-то они, к своему изумлению, в самом древнем находят самое новое, вплоть до поборников равенства, идущих так далеко, что это привело бы в ужас самого Прудона»².

Если так, нельзя презирать и алхимию. Победа научной мысли над детской фантазией прежних веков является прочной опорой для свободного обращения к плодотворным идеям, сверкающим в этой первичной туманности знания. И современная наука доказывает свою зрелость, когда она, подобно Орфею в греческом мифе, спускается в подземный мир, чтобы вернуть бесконечной жизни ее утраты. Пусть приговор окончательный и обжалованию не подлежит, но мы можем сделать его более точным, более гибким и справедливым.

Разумеется, при одном условии. Орфею не удалось оживить Эвридику — не удалось именно потому, что на обратном пути из царства теней он оглянулся назад. Ужасная ошибка! В ней, как всегда у греков, глубокий смысл. Желая восстановить живое значение раз навсегда пройденных эпох, открыть в этом безмолвном мире что-то несправедливо забытое, затоптанное в грязь стадом прогрессивных тупиц, нужно смотреть вперед, а не назад. Ибо при всей относительности прогресса остается неустраняемая разница между возрождением старых начал во имя высшей исторической действительности, лежащей впереди нас, и обратным ходом в собственном смысле слова.

Если первое известно в научном обиходе под именем палинггенеза, то второе может быть названо палиндромией. Граница между тем, что умирает раз навсегда и что рождается раз навсегда, подвижна, здесь происходит вечный «спор на меже». Взаимное отражение противоположностей, наплывы форм с той и другой стороны неизбежны. Но, предполагая, что поступательное развитие существует, мы допускаем тем самым наличие объективной разницы между палинггенезом и палиндромией.

Человек-художник, сделавший свое тело предметом художественного развития, может совершать под куполом цирка удивительные движения — недаром его отдаленные предки жили на деревьях. Но вот перед нами другой случай: когда человек, по словам Вольтера, становится «помесью тигра с обезьяной», спасайся кто может! У людей зверство тем более отвратительно, что оно проявляется по ту сторону главной цезуры, отделяющей человека от животного. Люди часто бывают хуже зверей, и худшим видом регресса угрожает им вредная радиация их собственного развития. Герцену эта опасность рисовалась в образе Чингисхана с телеграфом. Лев Толстой писал о Чингисхане с парламентом, прессой и журналистикой. Мы знаем теперь, что возможен и Чингисхан с атомной бомбой и даже Чингисхан с революцией, вроде «культурной революции» Мао Цзэдуна. Мертвое тянется к владениям жизни, так же, как жизнь берет свое в идеальном царстве прошлого.

Можно ли сделать выбор, остановиться на чем-то определенном в этом потоке противоречивых образов, причудливо связанных между собой враждебных начал? Легко было бы жить, если бы, например, добро и зло не были иногда до полной иллюзии похожи друг на друга, — так похожи, что человеческий ум в ужасе отступает перед этой бездной. Но выбор все-таки есть. Пройдя через тысячи отождеств-

² Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 32. — С. 43—44.

лений, история находит разность двух мировых путей. Сливаясь и разливаясь на самостоятельные течения, общий поток сохраняет большие водоразделы, служащие нашему внутреннему глазу опорой истинного смысла среди бессмысленной на первый взгляд текучести.

II

Теперь можно вернуться к исходному пункту этих рассуждений. Марксизм не искра благодати, сошедшей с неба, а естественный продукт исторических условий. В его истории участвуют обыкновенные человеческие страсти, и самый благожелательный взгляд видит в ней не одни торжественные шествия, но и ошибки, падения, иногда и что-то худшее. Это совсем не священная история, где царствует идеальный порядок и все заранее предсказано, все сбывается без промедления. В ней есть, и обязательно должны быть, случайные черты, зависящие от людей и обстоятельств.

Но не случайно положение марксизма на исторической карте мира, в центре борьбы, с которой трудно что-нибудь сравнить из прошлого человека. Сегодня идеи марксизма дают себя знать даже в напоенных желчью обратных теоремах его горячих противников. Несмотря на превратности времени, это мировоззрение остается единственной надеждой мыслящих людей двадцатого века, как луч света из страны будущего, где человек, достигнув своей собственной зрелости, сумеет наконец сказать вместе с Лессингом: «Разве не вся вечность принадлежит мне?»

Такие переходы от предварительных исторических набросков к однажды найденной форме развития возможны. Всеобщая форма, — отмечает Энгельс в своих заметках о диалектике, есть «форма внутренней завершенности и тем самым бесконечности»³. Не отступая от этой традиции, известной со времен Аристотеля, мы можем с полной внутренней ясностью встретить обычные доводы буржуазной критики. Догматизм здесь ни при чем. То, что можно назвать особым положением марксистской мысли на исторической карте мира, — не выдумка слепых фанатиков или расчетливых слугителей новой догмы, склонных приписывать ей абсолютную силу, отвергаемую ими, когда речь идет о других учениях. Нет, это естественный вывод из идеи диалектического движения в отличие от простой текучести.

Отсюда еще не следует, что теория марксизма верна. Справедливость ее доказывается глубиной содержания, соответствием его действительности, дальнейшим развитием учения Маркса и Энгельса в ленинизме, революционной практикой. Противники этого мировоззрения имеют право возражать против тех или других его сторон, хотя дело их проиграно. Но они не имеют права заранее отвергать возможность таких переходов, когда развитие в данном отношении как бы исчерпано и найденная форма становится безусловным началом всякого дальнейшего синтеза.

На философском языке безусловное именуется абсолютным. Словом «абсолют» широко пользовалась идеалистическая философия времен Шеллинга и Гегеля, пользовалась односторонне, с оттенком мистического восторга. Но это еще не значит, что в понятии абсолютного нет никакого разумного содержания. Насмешки над этим

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. — С. 548.

понятием в буржуазном позитивизме второй половины прошлого века, да и сейчас, ничего не стоят. Во всяком случае, человеком, который вернул абсолютному его реальное содержание, его законную связь с материалистической философией, был Ленин. Противники остро почувствовали новизну этой постановки вопроса, и, например, Богданов в полемике с Лениным иронически назвал его марксизм «абсолютным». Между тем страх перед абсолютным — мещанский предрассудок, тесно связанный с буржуазным кругозором, а убеждение в том, что научная революция марксизма имеет абсолютное содержание, не противоречит диалектическому взгляду на мир.

Разумеется, истина бесконечна, неисчерпаема. Но отсюда вовсе не следует, что она распределяется в общем потоке с потенциальной равномерностью. Частица абсолютной истины может быть во всем, но не во всем одинаково. Есть много разных ступеней актуальности ее проявлений, и разница между этими ступенями, границы между ними, при всей их гибкости имеют вполне объективный характер. В истории общества возникновение марксизма является как бы главной цезурой; оно означает конец предварительного и неполного развития, в котором общественное сознание носило по преимуществу бессознательный характер. «Разум существовал всегда, только не всегда в разумной форме», — писал Маркс⁴. Гений классической формы, отвечающий своему содержанию, насколько это возможно в конкретной истории, открывает дорогу развитию предмета на его собственной основе, то есть наиболее высокому типу всякого развития.

Уже Плеханов защищал принцип относительной законченности в применении к марксизму. Возражая Михайловскому, он отвечает на возможные сомнения следующим образом: «Общественные отношения видоизменяются; видоизменяются с ними и научные теории. В результате этих изменений является, наконец, всестороннее рассмотрение действительности, следовательно, и объективная истина. Ксенофонт имел иные экономические взгляды, чем Жан Батист Сэй. Взгляды Сэя, наверное, показались бы Ксенофону нелепостью; Сэй объявлял нелепостью взгляды Ксенофонта. А мы знаем теперь, откуда взялись взгляды Ксенофонта, откуда взялись взгляды Сэя, откуда взялась их односторонность. И это знание есть уже объективная истина, и никакой «рок» не сдвинет уже нас с этой открытой, наконец, правильной точки зрения.

— Но ведь не остановится же человеческая мысль на том, что вы называете открытием или открытиями Маркса? — Конечно, нет, господа! Она будет делать новые открытия, которые будут дополнять и подтверждать эту теорию Маркса, как новые открытия в астрономии дополняли и подтверждали открытие Коперника»⁵.

Слова Плеханова не потеряли своей убедительной силы, однако с того момента, когда они были написаны, обстановка в мире изменилась, и сознание среднего человека теперь более чувствительно к опасности мертвого однообразия, или, как говорят на Западе, конформизма (тому есть свои причины). Вот почему стоит, пожалуй, отметить, что «дополнение и подтверждение» Маркса — только часть, и притом незначительная, тех задач, которые открываются перед развитием общественного разума после достижения зрелости.

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. I. — С. 380.

⁵ Плеханов Г. В. Соч. в 24 т. Т. VII. — С. 224.

Можно, например, сказать, что двигатель внутреннего сгорания «дополняет и подтверждает» открытие огня. Но в таком выражении мало смысла. Между тем тот факт, что люди однажды научились добывать огонь, в самом деле является общим условием для изобретения паровой машины, дизеля и многих других машин, основанных на «движущей силе огня», по известному выражению Карно. Вот о чем речь идет у Плеханова, если понять его мысль достаточно широко.

Он, разумеется, не имел в виду превратить «открытия Маркса» в предел человеческих дерзаний. Эти открытия по самой своей природе требуют критики достигнутых результатов, их постоянной проверки опытом живого развития. Маркс сам называет свой метод критическим. Но для того, чтобы под видом смелого новаторства не совершалось простое возвращение вспять, а это всегда возможно, наши собственные критические претензии также должны быть подвергнуты основательной критике. При соблюдении этого условия отпали бы многие ничтожные попытки стереть великую грань, проведенную в истории общественной мысли возникновением марксизма. Так думал Плеханов.

«И тогда началась бы настоящая критика Маркса, — писал он в интересной статье 1908 года, посвященной двадцатилетию смерти Маркса. — Это может показаться шуткой, но это в самом деле так. Ведь разве же беда в том, что Маркса критиковали? Беда в том, что люди, желавшие критиковать его, обнаружили самое грандиозное неумение взяться за это дело, что они не поняли марксова метода, что они исказили его взгляды, что они, в своем собственном изучении действительности, становились на устаревшую и потому совершенно неудовлетворительную точку зрения. Результаты, естественно, получились самые жалкие. Когда люди, искренне считавшие себя социалистами, «критиковали» Маркса с точки зрения Бем-Баверка, Шульце-Геверница или Парето, они этим показывали одно: *свою неспособность подвергнуть Парето, Шульце-Геверница или Бем-Баверка критике с точки зрения Маркса*. А эта жалкая неспособность была опять-таки вполне естественным плодом нежелания или неумения всесторонне понять и продумать мирозерцание основателей научного социализма»⁶.

Итак, есть разница между широковещательным новаторством, которое под видом непримиримости ко всякой догме возвращает нас к устаревшим, раз навсегда оставленным позади идеям-призракам, и действительной оригинальностью идейного развития, предполагающей сохранение известного уровня в самом процессе научной критики, возможной только на этом уровне, во всяком случае, не ниже его.

Наши противники часто говорят, что идеология Маркса и Ленина отменяет плюрализм многих точек зрения и, таким образом, является «закрытой». Типичный догматик современного научного скепсиса Карл Поппер выводит эту черту из казарменной утопии Платона и абсолютной идеи Гегеля. Историю философии оставим в стороне, что же касается «открытости», то здесь постановка вопроса должна быть более конкретной. В своем широком отношении к лучшей традиции прошлого и возможностям новых исследований марксизм есть именно открытое мировоззрение, гораздо более открытое, чем какая-нибудь особенная «точка зрения». Он допускает проверку своих выводов и может быть только заинтересован в ней. Лишь бы эта проверка не превратилась в обывательскую смуту, ломающую связь идей,

⁶ Плеханов Г. В. Соч. в 24 т. Т. XVI. — С. 297.

стоивших человечеству немало благородных усилий, не говоря о жертвах кровавых и бескровных. Лишь бы лихорадочное «чувство нового» не внушило нашему современнику желания снова стать на четвереньки. В естествознании никому не приходит в голову делать новые открытия, минуя сложившийся аппарат науки, не при-мыкая к его последним, наиболее полным выводам. Такое же правило действует в области мирозерцания, взятого в целом, — оно действует в этой области, хотим мы этого или не хотим, и мстит за себя, когда мы его нарушаем. Если говорить об анархии мысли, которая, по выражению Маркса, есть «режим самой глупости» («das Regiment der Dummheit selbst»), то для таких видов свободы марксизм как мировоззрение, конечно, закрыт. И стесняться этого нечего.

У человека, знакомого с историей марксизма, припадки обывательской смуты вызывают именно чувство «скучищи неприличнейшей», ибо они повторяют, часто с удивительным бесстыдством или невежеством, одни и те же мотивы, оставленные позади определенной черты общим движением человеческой мысли. Эта черта, если она соблюдается, представляет собой гарантию против всякой косности, и тут, собственно, даже не черта, а ворота в будущее, открытые для постоянного перехода из ограниченной жизни исторических явлений в жизнь общую и закрытые для нашествия призраков, питающихся живой кровью. Законченным фактом является только открытие пути в бесконечность развития, а единственная догма, установленная этим открытием, запрещает под видом нового творчества «зады твердить и лгать за двух».

Поскольку в истории марксизма попытки сломать этот запрет бывали, были и разъяснения, направленные против анархии мысли, растущей на почве своего рода болезни века — лихорадочной жажды нового, — будь то новая марка машины или новый трюк философского модернизма. Открытый характер марксистского мировоззрения лучше всего выражен Лениным: «Единственный вывод из того, разделяемого марксистами, мнения, что теория Маркса есть объективная истина, состоит в следующем: идя *по пути* марксовской теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая ее); идя же *по всякому другому пути*, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи»⁷.

В общем, можно сказать, что со стороны мировоззрения Маркса и Ленина любая новая мысль, несущая в себе серьезное содержание, не встретит препятствия — лишь бы это новое творчество не покупалось за счет содержания марксистской традиции. Само по себе творческое начало необходимо для нее, как воздух, но говорить об этом — значит повторять избитые истины. Важнее сказать, что в процессе научного творчества возможны добросовестные заблуждения; их, разумеется, нельзя смешивать с рассчитанным отступничеством.

III

Громкие речи о преимуществах плюрализма по сравнению с единством взглядов слышатся прежде всего со стороны буржуазных партий. О том же хлопочут «нео-марксисты», «бездомные левые», «новые левые», а иногда и левые старые. Если во всем этом шуме присутствуют элементы честных поисков истины (этого отрицать

⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. — С. 146.

нельзя), то люди стучатся не в ту дверь. Требование свободного спора, без вмешательства силы, без демагогии естественно, но смешивать принципы с тактикой или теоретический спор, имеющий всеобщее значение, с простым разбродом взглядов невозможно. До Вестфальского мирного трактата в Европе действовало правило «*cuius regio, ejus religio*», то есть, примерно, «вера зависит от государственных границ». На религиозной почве такая сделка еще возможна, потому что здесь речь идет об условных верованиях, тесно связанных с определенным ритуалом. Думать же, что истина одна в Мадриде, другая в Москве, а третья в Пекине, — верный путь к дискредитации всякой серьезной социальной теории.

Свободный обмен мнениями (поскольку это не чистая абстракция) нужен именно для достижения единства мысли, предполагаемого самим процессом мышления. Свобода есть требование гражданское, государственное, межгосударственное, но при всей его важности оно не имеет ничего общего с так называемым плюрализмом истины, то есть с признанием множества одинаково справедливых точек зрения. Согласно модным философским теориям, любое единство идеологии «репрессивно». Но так ли это? Да, нетерпимость, подавление свободы совести — отвратительны и, главное, бесполезны, ибо ведут к обратным результатам. Но откуда вы взяли, что «репрессивность» связана с единством идеологии? Она прекрасно уживается с «плюрализмом» и широко пользуется анархией мысли для подавления всякого серьезного деятельного инакомыслия, опасного с точки зрения существующего в буржуазно-демократических странах общественного строя.

Слово «плюрализм» перешло на страницы больших газет из философии. Термин этот, изобретенный Вольфом еще в XVIII веке, был приспособлен основателем прагматизма Уильямом Джемсом для выражения права каждой личности иметь свое мировоззрение, не обязательное для всех. Представьте себе гостиницу, населенную множеством жильцов. В каждой комнате течет своя особая жизнь: юноша пишет стихи, банкир считает дивиденды, ученый исследует вещество, а верующий молит бога о ниспослании благодати. Никому нет дела до того, что творится в соседнем номере, и, только встречаясь в общем коридоре, добрые соседи вежливо приветствуют друг друга.

С этой гостиницей авторы школы Джемса сравнивали царство мысли. У каждого своя философия, свой мир. Мы признаём что-нибудь верным лишь потому, что это нам нужно или приятно. Единая объективная истина, обязательная для каждого мыслящего существа, кажется серой и неудобной. Как может чувствовать себя человек, которому не удалось получить отдельный номер в гостинице и приходится спать в общей комнате с другими джентльменами?

Эти софизмы сытого мещанства начала века превратились теперь в превозносимую всеми средствами массовой информации программу «свободного мира». Западная философия двадцатого века действительно напоминает комфортабельно обставленную гостиницу, в которой каждому течению отведен собственный номер. Феноменология и экзистенциализм, онтология и герменевтика помещаются в бельэтаже рядом с учением Фомы Аквинского. Структурализм, логический позитивизм, критический рационализм и множество других «измов» каждый день встречаются на лестнице. Изредка происходят недоразумения, дискуссии, вроде потешных сражений петровского времени. Ряды имен ослепляют читателя, десятки новых терминов, напоминающих средневековые суппозиции, редупликации, рестрикции, осаж-

дают мозг. Это настоящий Пантеон в честь тысячи богов, заранее осмеянный Вольтером в «Орлеанской девственнице»:

*Толпа ученых входит в этот храм;
На вид они не лишены рассудка,
Почтение они внушают вам,
Все смотрят сановито и прилично,
Все по-латыни говорят отлично,
Толкуют обо всех и обо всем,
И все же — это сумасшедший дом.*

Откуда видно, что в этом оглушающем хоре, где каждая группа голосов тянет свое, легче услышать мелодию истины? Конечно, если истина — дело внутреннего комфорта, то при наличии некоторой обеспеченности и образования каждый может удовлетворить свой потребительский интерес в этом супермаркете идей. Здесь все относятся друг к другу терпимо, но в целом получается то, что современная социология называет «давящей терпимостью». Этот превосходный термин ставит многообразие философских школ в один ряд с «вседозволенностью» сексуальной жизни или пестрой вакханалией художественной моды, состоящей, например, в том, что имярек, вместо того чтобы писать картины, создает свои произведения прямо на улице, останавливая прохожих и бормоча что-то непонятное. Множество сенсаций сбивает с ног, оглушает тем, что вчера считалось немыслимым, делает ум неспособным занять самостоятельную позицию, расходящуюся в чем-то существенном с теми стадными движениями, которые поддерживают обычный порядок жизни. Великолепное изобретение эта «давящая терпимость»! Она обеспечивает формирование «одномерного человека» Маркузе гораздо лучше самого крайнего догматизма и любых запретов.

Основная мысль плюрализма состоит в том, что существует множество жизненных позиций, структур и «видений», умственных схем вроде «образцов-типов» Элвуда и Маргарет Мид. Все они одинаково хороши, все правы на свой особый лад, все «непрозрачны» друг для друга. Эта банальность нашего века поддерживается тем, что громадное количество накопленных фактов истории культуры, искусства и философии само по себе оказывает давящее влияние на мозговой трест среднего человека, внушая ему идею релятивизма, отсутствия всякой сравнимости, внутренней системы и лестницы ступеней в пестром хаосе идеологических форм.

Значит, по-вашему, единомыслие лучше? Конечно, ведь речь идет не о марке сигарет или выборе футбольной команды. Полное единомыслие человеческого рода — такой же идеал, как абсолютная истина. Можете не беспокоиться — до этого далеко, но стремиться к единству вывода в «диалогах» с другими людьми для человека естественно. А вот при «давящей терпимости» вы будете тихо ненавидеть друг друга, скрывая это любезными фразами — о подлинной, серьезной борьбе за истину здесь не может быть и речи.

«Давящая терпимость» ничем не лучше принудительного единомыслия и часто с ним сочетается, но она гораздо хуже единомыслия добровольного. Вот к чему нужно стремиться, а делать всеобщий характер истины пугалом, ответственным за «репрессивность», — это значит, как уже сказано, стучаться не в ту дверь. Ошибки такого рода вызывают чувство злорадства у действительных противников нового, они служат верную службу антикоммунизму. О степени распространенности их

можно судить, например, по шумному успеху «диалектики просвещения», открытой двумя утонченными интеллектуалами — Хоркхаймером и Адорно.

Согласно этой парадоксальной теории, фашизм является естественным следствием просвещения XVIII века и, более широко, всей логики развития научно-технического мышления, начиная с неолита, если не раньше. Хоркхаймер, собственно, так и пишет: «Можно было бы сказать, что коллективное безумие, захватывающее сегодня все вокруг, от концентрационных лагерей до как бы совершенно невинных воздействий массовой культуры, уже налицо в примитивной объективации, в присутствии первого человеку калькулирующем взгляде на мир как на свою добычу». Разум буржуазен, он себя не оправдал, он переходит в господство. «Просвещение тоталитарно»⁸.

Изложено все это не без таланта и даже с некоторыми заимствованиями из марксизма. В своей критике технократического идеала и связи его с авторитарным направлением современной буржуазной политики Хоркхаймер и Адорно по-своему правы. Но так или иначе в основе их теории лежит грубый софизм. Наука действительно попала в обезьяньи лапы хищников и дельцов, однако сказать, что просветители подготовили почву для рациональной организации крематориев Освенцима — это маневр нечистой совести, самооправдание либеральной интеллигенции, которая своими походами против разума немало способствовала утверждению тоталитарного мифа 20-х — 30-х годов. «Диалектика просвещения» заставляет вспомнить старого французского писателя Поля Луи Курье, который в споре с реакционными софистами своего времени заметил, что главным источником всех бедствий человечества является изобретение книгопечатания и, мало того, — переход к артикулированной речи. Пародия Курье почти совпадает с глубокомысленной исторической философией Хоркхаймера и его последователей.

Если бы обезьяна не стала на путь рационального мышления, не сообразила, что посредством труда можно подчинить себе природу, не было бы и фашизма, как и сменившей его отупляющей силы потребительского общества! Здесь все перевернуто вверх дном. Вместо того чтобы сказать: старайтесь освободить общественное сознание от принудительных, «репрессивных» форм, — нам говорят: бегите от разума, он «репрессивен». Представить себе, что развитие разума в исторически данных ограниченных классовых формах само порождает негативные силы, способные его поглотить, что буржуазное просвещение переходит в невежество, то есть в свою противоположность, можно. Собственно, это старая истина, верно изложенная марксистской литературой задолго до «франкфуртской школы». Сказать же, что всякое рациональное мышление, опирающееся на законы естественной необходимости, — это прообраз системы «господства», до Гитлера включительно, сделать из просвещения в его борьбе с невежеством и суеверием дьявола мировой истории, рассматривать эту историю как единый процесс от Бэкона и Декарта до «Франкфуртер альгемайне», то есть без всякого перелома, перехода от демократии к реакции, — это уже

⁸ Horkheimer M. Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. — Frankfurt a/M., 1967. — S. 164; см. также: Horkheimer M., Adorno Th. W. Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt a/M., 1973. — S. 10. Критика разума еще отчасти оправдана, когда ее предметом является абстрактное представление о нем как о простом «инструменте» человека, но это разграничение, иногда возникающее в литературе «франкфуртской школы», тотчас же тонет в тумане скользких фраз.

софизм, стирающий все объективные грани и потому замешанный в современной защите темных идей. Прибавьте к этому, что, с точки зрения Хоркхаймера и Адорно, теория социализма тоже делает уступку системе господства или господству системы, поскольку она рисует картину будущего в свете исторической необходимости.

Подобные реакционные софизмы либеральной интеллигенции были известны в России еще до Октябрьской революции. Так, пошлый, в сущности, Лев Шестов, прославивший впоследствии на Западе бог весть каким мыслителем, писал, что главным источником жестокости в этом мире является борьба «героев духа». В стремлении передовой общественной мысли к цельному монистическому мировоззрению он видел угрозу личности, опасность «уничтожения всех орлов, питающихся живым мясом, выражаясь языком Пугачева, ради сохранения воронья, живущего падалью»⁹. Конечно, все это не слишком умно, однако совсем не случайно.

Ловушка буржуазной идеологии XX века заключается именно в системе антиистин. Нам говорят, что единая цельная последовательная мысль стесняет внутреннюю свободу, а десять заповедей провоцируют желание их нарушить и рождают эксцессы «подпольного человека». Все выработанные историей культуры правильные, законченные формы с этой точки зрения подозрительны. Быть может, они «недостаточно безумны», чтобы удовлетворить высшие требования современности?! Так, весь тон буржуазной идеологии за последнее столетие изменился: вместо прежних, пусть ограниченных или даже лицемерных, идеалов культурного обывателя прошлого века теперь господствует жажда постоянного нарушения принятых норм, система «обратных общих мест» и та же «давящая терпимость».

Как возникла и чем питается идеология антиистин — самостоятельный вопрос, слишком большой для нашей статьи. Возьмем эту ситуацию как нечто данное. Конечно, нельзя заранее осудить какое-нибудь явление духовной культуры только потому, что оно возникло где-то между Эльбой и Рейном или по ту сторону Атлантического океана. Это будет нетерпимость, догматизм во имя абстрактно понятой истины. Но попробуем рассуждать дальше. Если какой-нибудь «новый подход» пользуется широким распространением в образованных, технически развитых странах, значит в нем что-то есть. А если в нем что-то есть, то нужно его дифференцировать — положительное и, может быть, демократическое содержание, взять себе, расширив, таким образом, прежнее марксистское понимание вопроса, а реакционное отбросить. Схема готова. Допустим, что речь идет о структурализме или искусстве, ставящем себе целью ниспровержение «традиций Ренессанса», — словом, о чем угодно. Но мы забыли, что современная буржуазная идеология живет системой плюрализма, или «вседозволенности» («permissivness»), которая сама по себе отнюдь не является завоеванием прогрессивной культуры. Откуда вы знаете, и знаете заранее, что в этом явлении «что-то есть»? Чем ваша абстрактная антиистина лучше абстрактной истины, охраняемой нетерпимостью? И не дойдете ли вы в конце концов на этом пути до того, что будете искать рациональное зерно в курении марихуаны и требовать, чтобы «демократическое» нарушение элементарной половой морали не смешивали с «реакционным»? Вы заранее осуждаете всякую полную, неполновинчатую критику заблуждения как сущую ограниченность, а между тем это уже шаг в сторону «репрессивного», давящего плюрализма.

⁹ Шестов Л. Собр. соч. в 6 т. Т. 3. — СПб.: Шиповник, 1911. — С. 13.

Вот один из примеров. Чтобы ввести в коммунистический обиход некоторые, уже вполне признанные — по закону той же «давящей терпимости» — явления искусства, названные когда-то Лениным «нелепейшим кривлянием», западный «нео-марксизм» расширил границы теории отражения. И вот уже молвят овамо и семо, что возможны два типа отражения — одно, основанное на сходстве с действительностью, и другое, состоящее в условных знаках. На эту тему написаны тысячи страниц, хотя любому человеку, понимающему серьезность вопроса, совершенно ясно, что речь идет об отступлении от ленинизма во имя двусмысленной терпимости.

На страницах одного прогрессивного западного журнала мне приходилось читать, что теперь уже нельзя называть идеалистов дипломированными лакеями, как в 1909 году. Может быть, и нельзя (или не всегда можно), но почему? Прежде всего потому, что тяжкое бремя империи капитала ложится сегодня не только на рабочий класс, но и на более высоко расположенные слои буржуазного общества. Моральное отвращение, вызываемое этим порядком вещей у многих деятелей философского образования, — факт, который нельзя игнорировать. Но если резкие слова 1909 года устарели, то вовсе не потому, что в современном идеализме появилась какая-то рациональная и демократическая благодать, а потому, что в те времена на кафедрах философии еще господствовала старая казенщина, а ныне в так называемых свободных странах Запада функция выравнивания в одну шеренгу спокойно осуществляется частнохозяйственной анархией множества различных философских течений (разумеется, с примесью некоторой дозы новой казенщины в решающих пунктах этой системы). Внешнее лакейство теперь не обязательно, подчас неудобно, и можно терпеть даже марксистскую моду, предоставив ей особый номер в гостинице идей.

Почему же Ленин, как и его предшественники, умел найти рациональное зерно в системах идеалистов? Это совсем другое дело. Согласно закону противоречия, играющему немалую роль в хозяйстве колдуньи истории, старые идеалисты, эти богатые умозрительной фантазией головы, были классиками философии. Одной из принципиальных особенностей марксизма является то обстоятельство, что он провел определенную черту между классической идеологией старого общества и вульгарной, включая сюда, разумеется, и вульгарно-оригинальную идеологию эпохи империализма со всеми ее сенсациями и быстрой сменой экстравагантных течений.

Что касается последних, то некоторые из них чрезвычайно интересны, и не только потому, что здесь, как пишет Лесков, «что-то сверх понятия сделано» и с особой утонченностью рефлексии, с бенгальским огнем. Суть дела в другом: они волнуют силой затронутых проблем. Проблемы эти затронуты умными людьми, но в значительной степени искажены ими, их собственным болезненным возбуждением, связанным с той социальной стихией, которой они подчиняются. А ведь это — современные проблемы, требующие верного решения.

По поводу новейших «измов» можно иногда говорить о симптоме назревших решений или, в других случаях, о реакционном суррогате действительного развития философского мышления, отвечающего нашей эпохе. Между такими заменителями истины и «рациональным зерном» классической философии сама история провела заметную разделительную линию. Стирая эту диалектическую грань, вы становитесь активным носителем умственного разброда, воинствующей эклектики. Ибо

нет двух равноправных традиций в истории культуры — классической и модернистской. Граница, проведенная основателями марксизма и углубленная Лениным в его критике модных философских течений начала века, незыблема для всякого мыслящего человека, считающего себя марксистом не по должности или месту жительства. Пусть современное развитие теории отражения ответит на современные вопросы, в том числе и на тот вопрос, который ставит, но плохо решает теория, превращающая мысль в информацию, условный код или язык. Но пусть наше понимание потока новых проблем не превратится в мыльный порошок, стирающий все координаты, без которых невозможна верная ориентация в царстве мысли или, более точно, партийность в философии.

Не надо бояться старых верных решений: они не имеют ничего общего с какой-нибудь «репрессивностью». Не надо краснеть за свою ортодоксию — если она стесняет чем-нибудь мысль, то стесняет ее так же, как рифма или размер стесняют поэта. Стеснения такого рода ведут к совершенству, на них основана вся человеческая культура, выражающая бесконечность содержания в относительно законченных формах. Где нет умного, добровольного самоограничения, там царствует стихия вседозволенности и глупости.

Не надо бояться того, что общий язык марксизма, ясно выраженный в его лучшей литературе, отразится на оригинальности личного творчества, и не стоит менять этот язык на какой-нибудь новый жаргон технической схоластики. Истинный талант, способность к труду, своеобразие личности могут выделиться только на общем фоне, и это гораздо труднее, чем оригинальное пустозвонство. Когда такой общей основы нет, когда главное состоит в том, чтобы взвизгнуть громче всех, попасть в луч прожектора, воспользоваться каким-нибудь видом рекламы или саморекламы, все действительные различия между людьми, все уровни дарования стираются. И это базарное равенство нисколько не противоречит самочинному командованию. Если же вы боитесь, что верность старым завоеваниям марксистской мысли слишком облегчает жизнь, ваши опасения напрасны. Не беспокойтесь — она имеет свои проблемы и даже свой драматизм. Над этим стоит подумать.

Один умный человек сказал, что калека, знающий верный путь, достигнет цели раньше, чем всадник на борзом коне, скачущий куда глаза глядят. Это превосходно сказано, но не так просто на деле. Калека может тянуться долго, а может и не дойти. Нормальный случай — это всадник на борзом коне, знающий верный путь.

Подписные индексы

**«Российского экономического журнала»:
в каталоге Агентства «Роспечать» — 71114,
каталоге «Пресса России» — 42444
и в каталоге «Почта России» — 16531.**

**Подписка возможна также по электронному каталогу
«Российская периодика» (www.arpk.org)
и в ИД «Экономическая газета»
[тел. (499) 152-04-90, e-mail podpiska@ideg.ru]**